Рина Манова



РАЗВОДНЫЕ МОСТЫ

роман

18+

Рина Манова

Разводные мосты

«Автор»
2026

Манова Р.

Разводные мосты / Р. Манова — «Автор», 2026

Реставратор Вера спасает старый дом на Петроградской. Архитектор Марк — сын девелопера, который хочет его снести. Их роман начинается в ночь развода мостов, а дальше будут клевета, огонь, разлука и Венеция. Петербургская история о любви, которая сильнее гордости.

© Манова Р., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Лепнина 5
Глава 2. Ночь разведённых мостов 9
Глава 3. Фамилия 15
Глава 4. Луга 20
Глава 5. Архив 25
Глава 6. Чердак 29
Конец ознакомительного фрагмента. 30

Разводные мосты

Глава 1. Лепнина

В ноябре Петербург перестаёт притворяться. Летом он ещё строит из себя южный город: белые ночи, веранды на Рубинштейна, туристы в льняных рубашках. Но приходит ноябрь, и город снимает грим. Остаются серое небо, серая вода и мокрый снег, который падает не вниз, а куда-то вбок, прямо в лицо.

Вера Соколова любила его именно таким.

Она стояла на строительных лесах на высоте четвёртого этажа. Ветер с Невы трепал полиэтиленовую сетку, и та хлопала, как парус. Пальцы в тонких перчатках давно онемели. Вера держала шпатель так бережно, словно в руке у неё было не железо, а птичье перо.

Перед ней было женское лицо.

Маскарон над окном третьего этажа: высокий лоб, тяжёлые веки, полуоткрытые губы, волосы распущены и переходят в стебли ирисов. Сто с лишним лет назад кто-то вылепил это лицо с такой нежностью, что Вера в первый день на лесах просто стояла и смотрела. Потом сто лет непогоды, копоти, голубей и равнодушия съели половину щеки. Подбородок рассыпался, левый глаз затёк серой коркой.

Третью неделю Вера возвращала ей лицо.

— Ну потерпи, — шёпотом сказала она маскарону. — Ещё чуть-чуть. Будешь красавица.

Маскарон молчал, как и положено гипсу. Зато снизу крикнул Семён Ильич:

— Соколова! Ты там с кем разговариваешь?

— С клиенткой! — крикнула Вера в ответ.

— Клиентка тебе спасибо не скажет! Слезай, обед!

— Сейчас, только подбородок закреплю!

Семён Ильич Бородин, хозяин мастерской «Гипс и время», выругался беззлобно и закашлялся. Ему было шестьдесят восемь. Сорок пять из них он провёл на петербургских фасадах. Он лепил львов для Сената, кариатид для Миллионной и, говорят, когда-то спорил с самим Лихачёвым о том, как правильно чистить мрамор. Вера пришла к нему девять лет назад, сразу после Мухинского училища. Мастерская была почти единственным местом в её жизни, где всё было на своих местах.

Дом, на лесах которого она стояла, назывался доходным домом Вишневецкой. Большая Пушкарская, Петроградская сторона, 1911 год. Северный модерн: серый гранит внизу, шершавая штукатурка выше, эркеры, похожие на крепостные башенки, а над всем этим — совы, ирисы и это лицо. Архитектор Александр Вельский. О нём мало кто слышал. Он построил три дома и исчез из истории где-то в восемнадцатом году, как исчезали тогда очень многие.

Вера провела шпателем по свежему слою, разгладила крошечный бугорок у края губы и отклонилась, чтобы посмотреть издалека.

И услышала шаги.

Кто-то поднимался по лесам. Шаги были тяжёлые, уверенные, совсем не похожие на шарканье Семёна Ильича и на суетливую беготню их практиканта Тёмы. Леса качнулись. Вера обернулась.

На площадку четвёртого яруса выбрался мужчина. Высокий, в тёмном пальто, которое стоило, наверное, как её годовая зарплата. Без каски. На тёмных волосах таял снег. В руке он держал планшет, а на лице было выражение человека, который привык, что перед ним открывают двери.

— Добрый день, — сказал он. — Вы здесь главная?

— Здесь главная она, — Вера кивнула на маскарон. — А вы кто? И где ваша каска?

Он посмотрел на неё внимательно. Потом на маскарон. Потом снова на неё.

— Марк. Архитектор. Мне нужно сделать фотофиксацию фасада и посмотреть состояние карниза. Я ненадолго.

— На леса без каски нельзя, — сказала Вера. — И без допуска нельзя. И вообще без Семёна Ильича нельзя. Вы у него отметились?

— Пожилой человек внизу? Он сказал, что вы здесь наверху «воюете с лицом». Я решил посмотреть на войну.

Вера невольно фыркнула. Это было очень похоже на Семёна Ильича.

Марк шагнул ближе, к самому краю площадки, и наклонился к маскарону. Вера увидела, как он поднимает руку в кожаной перчатке, чтобы коснуться свежей щеки.

— Не трогать! — Она перехватила его запястье раньше, чем успела подумать. — Это свежий слой. Он сохнет сорок восемь часов. Вы мне сейчас всю неделю работы пальцем сотрёте.

Он замер. Её пальцы лежали на его запястье, поверх перчатки. Под кожей ощущался пульс — ровный, спокойный. Вера отдёрнула руку.

— Простите, — сказал он, и, кажется, искренне. — Я не подумал. Это... очень хорошо сделано.

— Это сделано в одиннадцатом году, — сказала Вера. — Я только возвращаю.

— Вы возвращаете хорошо. Левую половину не отличить от правой.

— Правую я тоже трогала. Там были трещины.

Он улыбнулся. Улыбка у него оказалась неожиданно мальчишеская, слегка кривая, и от этого всё его дорогое, выглаженное лицо сразу стало живым.

— Значит, я не отличаю, где вы, а где одиннадцатый год. Это комплимент.

— Это профессия, — сухо сказала Вера, хотя ей было приятно.

Он поднял планшет и сделал несколько снимков. Вера смотрела, как он работает. Он снимал не так, как снимают туристы. Он делал серию: общий план, потом фрагменты, потом карниз снизу, под углом. Потом достал из кармана лазерный дальномер, померил что-то, записал. Двигался он точно и спокойно, словно леса были для него привычным местом.

— Зачем вам состояние карниза? — спросила она.

— Для проекта.

— Какого проекта?

Он помедлил.

— Дом будут реконструировать.

Вера почувствовала, как внутри что-то холодеет.

— Реконструировать — это как? — спросила она медленно. — Реставрировать?

— Реконструировать — это реконструировать. Сохранение исторического фасада, новые инженерные системы, перепланировка, мансарда...

— Мансарда, — повторила Вера. — На доме Вельского. Мансарда.

— Остеклённая. Её не будет видно с улицы.

— А дворовые флигели?

Он посмотрел на неё внимательнее, чем раньше.

— Вы хорошо знаете этот дом.

— Я здесь три месяца. Я знаю каждую сову на этом фасаде по имени. Так что с флигелями?

— Флигели в аварийном состоянии, — сказал он ровно, как говорят заученную фразу. — Их заменят новым объёмом с сохранением габаритов.

— То есть снесут.

— То есть построят новые, лучше старых. С лифтами, с подземным паркингом, с нормальными окнами. В этом доме сейчас живут в коммуналках, в которых течёт с потолка. Вы бывали в квартирах? Там проводка двадцатых годов.

— Я бывала на лестнице, — сказала Вера. — Там витраж. Ирисы. Их делали в Риге, в мастерской Эрнста Тоде. Таких осталось три в городе. Ваш новый объём их сохранит?

— Витраж можно демонтировать и перенести.

— Куда? В лобби вашего ЖК? Чтобы богатые жильцы проходили мимо и думали, что это красиво?

— А что плохого в том, что кто-то будет думать, что это красиво? — Он не повысил голос, но в нём появился металл. — Сейчас мимо него проходят люди, которые ставят под ним мусорные пакеты. Я видел.

Вера открыла рот и закрыла. Мусорные пакеты под витражом она тоже видела.

— Это не аргумент, — сказала она наконец. — Это повод его отмыть, а не выламывать.

— Его никто не собирается выламывать.

— «Демонтировать и перенести» — это и есть выламывать, только в галстуке.

Он рассмеялся. Коротко, но по-настоящему. Снег падал ему на ресницы.

— Вы всегда так разговариваете с архитекторами?

— Только с теми, кто лезет на леса без каски и называет дом объёмом.

— Я не называл дом объёмом. Я называл объёмом флигели.

— Флигели — это тоже дом.

Они стояли друг напротив друга на узкой дощатой площадке, на высоте четвёртого этажа, под мокрым снегом, и Вера вдруг очень ясно увидела его лицо. Не просто «красивый мужчина в дорогом пальто», а конкретное лицо: прямой нос с маленькой горбинкой, серые глаза, слишком внимательные, тонкий белый шрам над правой бровью. Морщинки в углах глаз — значит, смеётся часто, хотя по нему не скажешь. Губы...

Она отвернулась к маскарону.

— Мне нужно закончить подбородок, пока не схватилось, — сказала она. — Вы закончили со снимками?

— Почти.

Он сделал ещё два кадра. Потом, к её удивлению, сфотографировал саму маскаронову голову — близко, так, что в кадр попала и Верина рука со шпателем.

— Это для проекта? — спросила она не оборачиваясь.

— Это для меня, — сказал он.

Вера не ответила. Он помолчал, будто ждал чего-то, потом сказал:

— Как вас зовут?

— Вера.

— Вера, — повторил он, словно пробовал слово на вкус. — Спасибо, что не дали мне испортить ей щёку.

— Не за что. В следующий раз возьмите каску.

— Обязательно.

Он спустился. Вера слышала, как шаги затихают внизу, как он что-то говорит Семёну Ильичу, как хлопает дверца машины. Она не стала смотреть вниз. Она разглаживала подбородок, шептала маскарону всякую ерунду и думала о мансарде.

Остеклённая мансарда на доме Вельского. Подземный паркинг под дворовыми флигелями. Витраж Тоде в лобби.

— Не дадим, — сказала она лицу. — Слышишь? Не дадим.

Когда Вера наконец спустилась, у неё не гнулись колени, а пальцы были белые, как сам гипс. Семён Ильич сидел в бытовке у масляного обогревателя и пил чай из термоса. Тёма, их практикант, двадцатилетний, тощий и восторженный, ел шаверму и листал телефон.

— Кто это был? — спросила Вера, стягивая перчатки.

— Архитектор, — сказал Семён Ильич. — От заказчика.

— От какого заказчика? Нас же нанял КГИОП, разве нет? Через фонд?

— Фасад — да. Фонд оплачивает фасад. А дом купили.

— Кто купил?

Семён Ильич отхлебнул чай и посмотрел на неё поверх очков тем взглядом, которым смотрел, когда она в девятнадцать лет пыталась чистить мраморную вазу металлической щёткой.

— Вера. Тебе какая разница? Наше дело — фасад. Совы, ирисы, барышня. Мы делаем красиво, нам платят, мы уходим.

— Они хотят снести флигели, Семён Ильич.

— Хотят — значит, хотят. Не первый дом и не последний.

— И мансарду поставить. Стеклянную.

Старик поставил кружку на стол.

— Это он тебе сказал?

— Он.

— Ну, значит, так и есть. — Семён Ильич вздохнул. — Верочка, я сорок пять лет в этом городе. Я видел, как ломали дом Рогова. Видел, как ломали «Детскую Ортопедическую». Видел, как на Конюшенной сделали из конюшен торговый центр с фасадом. Мы можем сколько угодно возмущаться. Подписи собирать. На заседания ходить. А дом купили люди, у которых деньги. Деньги в этом городе всегда побеждают камень. Камень только ждёт. Иногда дожидается.

— Это очень грустная философия.

— Это не философия. Это опыт. Садись, чай пей. Ты синяя.

Вера села. Тёма протянул ей вторую шаверму, которую, оказывается, купил на неё. Она вдруг почувствовала, что ужасно голодна, и откусила сразу половину.

— А он ничего, — сказал вдруг Тёма, не отрываясь от телефона. — Архитектор. Пальто у него, конечно. Я такое на «Авито» видел, за двести тысяч, бэушное.

— Тёма, — сказала Вера с набитым ртом. — Ешь молча.

— Я просто говорю. Он на тебя смотрел. Когда спускался. Остановился внизу и смотрел наверх минуты две.

— На фасад он смотрел.

— На фасад так не смотрят, — убеждённо сказал Тёма, у которого в его двадцать лет было, по слухам, два романа и оба несчастные.

Семён Ильич хмыкнул в кружку. Вера сделала вид, что не слышит.

Потом она вышла из бытовки, чтобы вымыть шпатели в ведре, и увидела на перилах нижнего яруса что-то тёмное. Шарф. Тёмно-синий кашемировый шарф, мягкий, как кошачий живот. Наверное, он снял его, когда поднимался, чтобы не мешал, и забыл.

Вера взяла шарф в руки. От него пахло чем-то древесным — кедром? можжевельником? — и чуть-чуть кофе, и холодом, и, наверное, им самим.

Она постояла так секунду, а потом сердито скомкала шарф и сунула в рюкзак. Отдаст Семёну Ильичу, тот передаст заказчику. Или выбросит. Или...

Ничего она с ним не сделает. Просто отдаст.

Над ней, на высоте четвёртого этажа, под полиэтиленом, маскарон с ирисами в волосах смотрел на улицу своими тяжёлыми веками. Один глаз уже был ясный, другой ещё нет. Вере показалось, что маскарон смотрит на неё с лёгкой насмешкой.

— Не начинай, — сказала ему Вера.

И пошла мыть шпатели.

Глава 2. Ночь разведённых мостов

— Ты притащила домой шарф незнакомого мужчины, — сказала Даша. — И нюхала его. Я видела.

— Я его не нюхала.

— Нюхала. Вот этим самым носом. Как сеттер.

Они сидели в баре на Большой Зелениной. Сначала там был шиномонтаж, потом рюмочная, а теперь подавали настойки с названиями вроде «Облепиха Достоевского» и «Хрен с ним». Даша Ковальчук, лучшая подруга Веры со второго курса Мухи, бросила керамику ради татуировок и не пожалела ни разу. Сейчас у неё была своя студия на Гатчинской. Синие волосы, кольцо в носу, а на предплечье набита полная копия «Девятого вала» Айвазовского. Даша считала его «самой честной картиной про любовь».

— Шарф я отдам Семёну Ильичу, — сказала Вера. — Он передаст.

— Конечно. А почему он тогда у тебя в рюкзаке, а не у Семёна Ильича?

— Потому что Семён Ильич ушёл раньше.

— Ага.

— Даша.

— Я молчу. — Даша отпила «Облепиху Достоевского» и поморщилась. — Боже, это ужасно. Ещё хочу. Слушай, ну он хоть красивый?

Вера подумала о сером взгляде, о белом шраме над бровью, о кривой мальчишеской улыбке на дорогом лице.

— Обычный.

— Значит, очень красивый, — заключила Даша. — Ты, когда врёшь, становишься похожа на свою сову. Ту, которую ты лепила для Кировского дворца культуры. Вся надутая.

— Он хочет поставить на доме Вельского стеклянную мансарду, Даш.

— Фу.

— И снести флигели.

— Двойное фу. Всё, он мне больше не нравится. — Даша отхлебнула кофе. — А шарф-то какой?

— Кашемир.

— Ой, Верка, — вздохнула Даша. — Пропала ты.

Вера кинула в неё солёным орешком.

Они просидели до половины второго. Говорили о Дашином новом клиенте: тот хотел набить на спине карту метро 1985 года, со всеми станциями, которых тогда ещё не было, но «которые должны были быть». Говорили о Вериной маме. О ней Вера говорила коротко, отрывисто, как говорят о больном зубе. О Кирилле, который опять писал. О том, что ноябрь, а снег уже лёг и сразу растаял, и это плохая примета, только непонятно для кого.

В половине второго Даша вызвала такси на Гатчинскую, потому что жила прямо над студией. А Вера сказала, что пойдёт пешком.

— Ты с ума сошла? Мосты сейчас разведут.

— Тучков в два. Успею.

— Не успеешь.

— Успею. Здесь двадцать минут.

— Верка, двадцать минут было в девятнадцать лет, когда ты бегала на каблуках. Сейчас ты ползаешь в ботинках, как реставратор.

— Я и есть реставратор.

— Вот именно. Возьми такси.

Но Вера не взяла. Такси через мост в два ночи стоило как полдня работы, а полдня работы были нужны на сиделку для мамы. Она обняла Дашу, натянула шапку поглубже и пошла.

Она не успела.

Ей не хватило буквально трёх минут. Она выскочила на Петроградскую набережную у Малой Невки, увидела красный свет над мостом и услышала знакомый звук, низкий и тяжёлый. Город издаёт его каждую ночь с апреля по ноябрь, когда огромные металлические крылья начинают подниматься к небу. Тучков мост разводился медленно, торжественно, словно нехотя, и между его половинами раскрывалась чёрная вода.

Вера остановилась на набережной и выругалась. Красиво и подробно, как умел ругаться только Семён Ильич.

— Я бы добавил ещё пару слов про городскую администрацию, — сказал кто-то рядом.

Она обернулась.

Он стоял у гранитного парапета в том же тёмном пальто и с той же, кажется, кривой улыбкой. Только теперь на нём была вязаная шапка, а шеи шарф не закрывал. Шарф лежал в её рюкзаке.

— Вы, — сказала Вера.

— Я, — согласился Марк. — А вы та самая, что воюет с лицом.

— Вы что, за мной следите?

— Я живу на Васильевском. Шёл с ужина на Петроградке и решил прогуляться. Опоздал на мост, как и вы. — Он пожал плечами. — Пять лет прожил в Лондоне и забыл, что в этом городе нельзя просто взять и пройти домой ночью.

— Можно на такси через Благовещенский. Он сводится в два пятьдесят. А потом опять.

— Можно, — согласился он. — Но тогда пропустишь вот это.

Он кивнул на мост. Вера посмотрела туда же.

Крылья Тучкова моста поднялись почти вертикально. В свете фонарей они казались черными парусами огромного корабля. Внизу шёл первый караван: низкая баржа, гружённая песком, медленно скользила по чёрной воде. Её огни отражались длинными дрожащими дорожками. Снег опять начал падать, редкий и крупный, и каждая снежинка, попадая в свет прожектора, на секунду становилась золотой.

Вера видела это сотни раз. Она родилась в этом городе. Её бабушка родилась в этом городе. Бабушкина мама пережила здесь блокаду и рассказывала, что в сорок втором мосты не разводили, потому что некому было разводить. И всё равно Вера каждый раз замирала.

— Красиво, — сказала она неохотно.

— Очень, — сказал он, и она почувствовала, что он смотрит не на мост.

Она полезла в рюкзак.

— Вот. Вы забыли.

Он взял шарф, посмотрел на неё с удивлением.

— Вы его с собой носите?

— Я его не ношу. Он просто лежал в рюкзаке. Я собиралась отдать Семёну Ильичу.

— А отдали мне.

— Вы же здесь.

— Удачно, — сказал он. Шарф он не надел, а держал в руках. — Вы замёрзли.

— Нет.

— У вас нос красный.

— У меня всегда нос красный. Это генетика.

Он рассмеялся. Потом шагнул к ней и, прежде чем она успела отступить, накинул шарф ей на шею. Аккуратно, двумя движениями: видно было, что делает это не впервые. Кашемир лёг на кожу тёплым облаком и пах кедром.

— Вот, — сказал Марк. — Теперь нам обоим придётся ждать, пока мост сведут. Я не могу уйти без шарфа, а вы не можете уйти в моём шарфе.

— Я могу его снять.

— Можете. Но не снимете, потому что вам холодно.

Вера хотела возразить, но ей действительно было холодно. А ещё ей было... она не знала, как назвать это ощущение. Так бывает на лесах, когда доска под ногой вдруг чуть-чуть пружинит.

— Мост сведут в без пяти пять, — сказала она. — Почти три часа.

— Тогда, — сказал он, — нам нужен кофе.

Кофе в два часа ночи на Петроградке нашёлся в круглосуточной пышечной у Сытного рынка. Это было маленькое помещение с пластиковыми столами. За стойкой стояла сонная женщина в кружевной наколке, на стене висел портрет Цоя. Пышки были горячие, в сахарной пудре. Кофе был ужасный, из большого бака, с молоком и сахаром сразу, как в школьной столовой.

— Это лучший кофе в моей жизни, — серьёзно сказал Марк после первого глотка.

— Вы врёте.

— Вру. Но это лучший кофе за последние пять лет. В Лондоне такого нет. Там всё безупречно. Флэт уайт, овсяное молоко, зерно из Эфиопии с нотками черники. А вот этого нет.

— Чего — этого?

Он задумался.

— Честности, наверное. Этот кофе не притворяется хорошим. Он такой, какой есть.

Вера посмотрела на него поверх стаканчика. Сахарная пудра осела у него на верхней губе. Ей захотелось её стереть, и она сжала стаканчик сильнее.

— Зачем вы вернулись? — спросила она. — Из Лондона.

— Отец попросил.

— И всё?

— Нет, не всё. — Он покрутил стаканчик в руках. — У меня там было своё бюро. Маленькое, три человека. Мы делали реконструкции старых складов в Ист-Энде. Превращали их в жильё и мастерские. Мне это нравилось. А потом выяснилось, что нравиться и окупаться — разные вещи. Бюро прогорело. Отец помог закрыть долги. И попросил вернуться.

— И теперь вы делаете стеклянные мансарды на доме Вельского.

— А вы не отпускаете, да?

— Нет.

Он вздохнул и вдруг улыбнулся так, что у неё ёкнуло внутри.

— Хорошо. Давайте договоримся. Сегодня ночью — никаких мансард. Никаких флигелей. Ни слова о работе до без пяти пять. Идёт?

— А о чём тогда разговаривать?

— О чём угодно. О вас. О городе. Почему у вас красный нос и при чём тут генетика.

— Это от бабушки, — сказала Вера. И вдруг рассказала.

О бабушке Лиде, которая всю жизнь проработала смотрительницей в Русском музее. Двадцать лет она просидела на стульчике в зале Брюллова и знала про «Последний день Помпеи» больше, чем все экскурсоводы вместе взятые. О том, как бабушка водила маленькую Веру по залам в понедельник, когда музей был закрыт, и рассказывала про каждую трещину на каждой раме. О квартире на Седьмой линии Васильевского, которая досталась Вере от бабушки. Там скрипит паркет, а из окна видны купола Андреевского собора. О коте Ферзе, наглом чёрно-белом звере, который однажды пришёл с улицы и остался.

Она не собиралась ничего рассказывать. Просто слова шли сами, а он слушал так, как слушают немногие: не перебивая, не ожидая паузы, чтобы вставить своё. Только иногда задавал вопрос, и всегда точный.

— Почему Ферзь?

— Потому что ходит куда хочет.

— Ваш кот играет в шахматы лучше меня.

— Мой кот всё делает лучше вас. Он, например, никогда не лезет на леса без каски.

— Мы договорились, никакой работы.

— Каска — это не работа. Это техника безопасности.

Он засмеялся. Потом рассказывал сам. Немного, осторожно, как человек, который давно ни с кем так не разговаривал. О Лондоне, о сыром тумане над Темзой, о маленькой квартире в Хакни, где из окна была видна только кирпичная стена. И о том, как он этой стене радовался, потому что стена была старая, викторианская, и на ней проступали буквы рекламы мыла 1890 года. О матери.

— Она была художницей, — сказал он, глядя в стаканчик. — Акварелистка. Рисовала город. Каналы, дворы, крыши. Её работы были в Русском музее, кстати. Может быть, ваша бабушка их видела.

— Были?

— Она умерла, когда мне было пятнадцать.

— Простите.

— Давно было. — Он поднял глаза. — Это она научила меня смотреть на дома. Говорила: у каждого дома есть лицо. Нужно только остановиться и посмотреть. Большинство людей проходят мимо и не видят.

Вера молчала. Она подумала о маскароне с ирисами. О том, как он сфотографировал лицо «для себя».

— Вы его увидели, — сказала она тихо. — Сегодня. Лицо.

— Увидел, — сказал он. — И не только его.

Женщина за стойкой громко зевнула и включила радио. Там играла старая песня, кто-то пел про город, который никогда не спит. Вера отвернулась к окну. Её щёки горели, и она надеялась, что это от кофе.

В четыре они пошли к мосту. Снег перестал, и небо над Невой стало чуть светлее, не рассвет ещё, только намёк на то, что он когда-нибудь будет. На набережной было пусто. Только один таксист курил у своей машины, и ещё вдалеке шли двое, такие же опоздавшие, держась за руки.

Они остановились у парапета. Марк облокотился о гранит, Вера стояла рядом, кутаясь в его шарф.

— Вы знаете, сколько в Петербурге разводных мостов? — спросил он.

— Двадцать два, — сказала Вера. — А по Неве — девять.

— Вы ходячая энциклопедия.

— Я петербурженка в четвёртом поколении. Это входит в пакет.

— А знаете, что мне всегда казалось? — Он смотрел на поднятые крылья моста. — Что мосты разводят не для кораблей.

— А для чего?

— Для людей. Чтобы кто-то обязательно опоздал. Застрял не на том берегу. И встретил того, кого не встретил бы, если бы успел.

Вера повернула голову. Он смотрел на неё. Серые глаза в предрассветном свете казались совсем светлыми, почти прозрачными.

— Это очень романтическая теория, — сказала она, — для человека, который хочет снести флигели.

— Мы договорились.

— Сейчас без двадцати пять. Почти утро. Договор почти истёк.

— Почти не считается.

Они помолчали. Где-то за рекой проехал первый троллейбус, пустой и освещённый, как аквариум.

— Можно я провожу вас до дома? — спросил Марк.

— Седьмая линия. Это вам по пути.

— Мне всё по пути.

В четыре пятьдесят пять крылья моста начали опускаться. Медленно, со скрежетом и гулом, точно огромный зверь укладывался спать. Две половины сошлись над чёрной водой, лязгнули, загорелся зелёный свет. Город снова стал целым.

Они пошли через мост вместе. Шли медленно, никуда не торопясь, хотя оба замёрзли. Вера чувствовала его плечо рядом со своим. Не касание, но близость. Тепло, которое было слышно сквозь два пальто.

На Васильевском было тихо. Линии уходили вглубь острова прямые, как струны. Вдоль них стояли спящие доходные дома с тёмными окнами. Где-то закричала чайка, нелепо и громко.

У её подъезда, старого, с облупленной дверью и кодовым замком, который не работал с две тысячи пятнадцатого года, Вера остановилась и стала разматывать шарф.

— Оставьте, — сказал Марк.

— Это ваш шарф.

— Тогда у меня будет повод его забрать.

Вера посмотрела на него. Он стоял совсем близко, засунув руки в карманы. Его лицо было серьёзным, без улыбки, и от этого ещё более... она не нашла слова.

— Вы очень самоуверенный, — сказала она.

— Я очень замёрзший, — возразил он. — Самоуверенность — побочный эффект.

Она размотала шарф до конца и протянула ему. Он не взял. Тогда она сама, встав на цыпочки, накинула шарф ему на шею, как он ей там, у моста. Двумя движениями. Её пальцы на секунду коснулись его кожи над воротником, тёплой, неожиданно тёплой.

Он замер.

— Вот, — сказала Вера и отступила. — Теперь у вас нет повода.

— Тогда, — сказал он хрипловато, — мне придётся придумать другой. Можно ваш номер?

Она должна была сказать «нет». Она это точно знала. Человек со стеклянной мансардой. Человек, который говорил «объём» и «демонтировать». Человек в пальто за двести тысяч, бэушное.

— Восемь, девятьсот одиннадцать, — сказала она.

Он записал. Потом сразу позвонил, и в её кармане завибрировал телефон.

— Это я, — сказал он. — Чтобы вы знали, кто звонит, и не сбрасывали.

— Я ещё не решила, буду ли брать трубку.

— Я понимаю. — Он серьёзно кивнул. — Спокойной ночи, Вера. Хотя, скорее, доброе утро.

— Доброе утро, Марк.

Она вошла в подъезд и только у двери своей квартиры на третьем этаже позволила себе прислониться к стене и закрыть глаза. Сердце колотилось так, словно она взлетела на третий этаж бегом, хотя поднималась она нарочно медленно.

В квартире Ферзь встретил её возмущённым воплем: где она шлялась, когда его миска пуста? Вера насыпала корм, налила воды, разделась и легла, не снимая свитера, под два одеяла.

Телефон пискнул.

«Спасибо за самый честный кофе. И за мост».

Она перечитала сообщение раза три. Потом написала: «Мост был не мой. Городской».

Ответ пришёл через секунду: «Сегодня — ваш».

Вера положила телефон экраном вниз и уткнулась лицом в подушку. От её волос всё ещё пахло кедром.

За окном, над куполами Андреевского собора, начинался ноябрьский рассвет. Он был серый, неохотный и прекрасный, как и всё в этом городе.

Она уснула с улыбкой. И даже во сне ей не пришло в голову спросить, какая у него фамилия.

Глава 3. Фамилия

Целую неделю Вера жила в двух городах сразу.

В первом были леса, гипс, совы на фасаде и недосып. Маскарону она закончила левую щёку и взялась за ладонь совы-сторожа. У совы отвалилось правое крыло, и она смотрела на улицу с таким видом, будто принципиально не собирается летать.

Во втором городе был телефон.

Марк писал нечасто, и в этом была какая-то странная деликатность. Раз в день, иногда два. Никаких «что делаешь» и «как дела». Он присылал фотографии.

Первой был лев с отбитым носом у ворот где-то на Карповке. Подпись: «Ваш клиент? Выглядит расстроенным».

Вера ответила: «Это чугун, не мой профиль. Но нос ему отбили грузчики в 2019-м, я помню скандал».

Второй был двор-колодец на Пушкинской, снятый снизу вверх: четыре жёлтые стены и квадрат серого неба. «Мама любила рисовать отсюда. Говорила, что это единственное место в городе, где небо принадлежит только тебе».

Вера разглядывала этот квадрат неба, пока не остыл чай. Потом сфотографировала своё окно: два купола Андреевского собора над крышами и Ферзя на подоконнике, сердитого, как начальник. «А здесь небо принадлежит ему».

«Он выглядит как человек, который знает про меня что-то плохое», — написал Марк.

«Он про всех знает что-то плохое. Это его работа».

Третьей фотографией, в четверг вечером, был он сам. В зеркале лифта, в каске. Настоящей оранжевой строительной каске поверх дорогого пальто. Выражение лица у него было настолько серьёзное, что Вера рассмеялась вслух прямо в трамвае, и на неё обернулась старушка с таксой в сумке.

«Техника безопасности, — подписал он. — Меня перевоспитали».

«Вам идёт. Вы похожи на очень дорогой апельсин».

«Это самый странный комплимент в моей жизни. Спасибо».

И сразу следом: «Поужинаете со мной в субботу? Обещаю честный кофе и ни одной мансарды».

Вера смотрела на это сообщение две остановки. На третьей написала «да» и тут же пожалела. На четвёртой перестала жалеть.

В пятницу Семён Ильич позвал её в бытовку и плотно закрыл дверь.

За девять лет Вера видела его разным. Злым, когда заказчик срезал бюджет на половину за неделю до сдачи. Счастливым, когда они нашли под тремя слоями советской краски оригинальную роспись плафона. Пьяным и плачущим — в тот день, когда умерла его жена Тамара. Но смущённым она видела его впервые.

— Вера, — сказал он и потёр переносицу. — Тут такое дело. Я не знаю, как сказать.

— Нам не заплатят за ноябрь?

— Заплатят. Дело не в этом. — Он полез в папку на столе и достал распечатку. — Вчера прислали презентацию проекта. Для сведения подрядчиков. Я тут посмотрел... В общем. На вот.

На первом листе был их дом. Точнее, то, что из него собирались сделать. Фасад с совами и ирисами, идеально чистый, как на открытке. Над ним стеклянный короб, подсвеченный изнутри тёплым светом. За фасадом, там, где сейчас стояли дворовые флигели с лупящейся штукатуркой, возвышалась гладкая семиэтажная грань из стекла и терракотовой плитки.

Сверху была надпись в тонком современном шрифте: **«ИРИС. Клубный дом на Петроградской».**

А внизу, мелко:

Застройщик: ООО «Ланской Девелопмент». Главный архитектор проекта: М. В. Ланской.

Вера смотрела на эти буквы и не понимала. Потом поняла. Всё сразу, так, как сразу понимают, что леса уже не качаются, а падают.

Ланской. Виктор Ланской. Эту фамилию знал в городе каждый, кто хоть раз подписывал петицию в защиту старого дома. Это люди Ланского снесли дачу в Шувалове, чтобы построить коттеджный посёлок. Это их экспертиза признала аварийным дом на Варшавской, который простоял сто двадцать лет и простоял бы ещё столько же. А ещё — лофт в бывшей табачной фабрике, жилой комплекс на месте старого сада в Девяткино. Виктор Сергеевич Ланской любил говорить в интервью, что он «даёт старым камням вторую жизнь». Даша когда-то сказала про него: «Даёт вторую жизнь. Как таксидермист».

М. В. Ланской. Марк Викторович.

«Отец попросил вернуться».

— Вера, — тихо сказал Семён Ильич. — Ты побелела.

— Я всегда белая. Это гипс.

— Тёма сказал, что видел вас в пышечной на Сытном. Он там рядом живёт. Идиот, разболтал. Я подумал, тебе надо знать.

Вера положила лист на стол. Аккуратно, лицом вниз. Она сама удивилась, какие у неё спокойные руки.

— Спасибо, Семён Ильич.

— Верочка...

— Всё нормально. Я пойду доделаю сову.

Она вышла из бытовки и стала подниматься по лесам. На втором ярусе она поняла, что дрожит. На третьем она остановилась, вцепившись в холодную трубу ограждения, и стала дышать. Вдох на четыре счёта. Задержка. Выдох на шесть. Так учила её бабушка: в блокаду так спасалась от паники её мать.

У него были пять дней, пятьдесят сообщений и одна целая ночь, чтобы сказать. Одно слово. Фамилию.

Он не сказал.

Он приехал в тот же день, в четыре. Уже темнело. В ноябре в Петербурге темнеет сразу после обеда, и воздух становится густым и синим, как чернила в воде. Шёл мелкий ледяной дождь. Вера как раз спустилась с лесов и мыла инструменты под краном у бытовки, когда услышала его шаги. Те самые, тяжёлые и уверенные.

— Вера. Я звонил, вы не берёте. Всё в порядке? Я хотел уточнить про завтра, я нашёл место на Рубинштейна, там...

Она выключила воду и обернулась.

На нём была каска. Оранжевая, как на фотографии. И от этого всё было ещё хуже.

— Здравствуйте, Марк Викторович, — сказала она.

Он остановился. Вера видела, как у него изменилось лицо. Не сразу — сначала пропала улыбка, потом что-то в глазах, потом челюсть стала жёстче. Он снял каску и держал её в руке, как держат шляпу на похоронах.

— Кто вам сказал?

— А это важно? — Спокойный голос давался ей с трудом, как самая тонкая работа шпателем. — Презентация проекта «Ирис». Страница один. Главный архитектор проекта. Мелким шрифтом, но я разглядела. У меня хорошее зрение, профессия обязывает.

— Вера, я собирался сказать.

— Когда? Завтра на Рубинштейна? Или в без пяти пять, когда истечёт договор о мансардах?

— Я не врал вам.

— Вы не сказали. Это то же самое, только в галстуке.

Он вздрогнул. Она увидела, что он помнит свои слова на лесах. Демонтировать и перенести. Выламывать в галстуке.

— Хорошо, — сказал он медленно. — Хорошо, ты права. Вы правы. Я не сказал. Потому что знал, что будет вот это. Вот это лицо. Я хотел, чтобы у нас была хотя бы одна ночь, когда я не Ланской. Когда я просто парень, который опоздал на мост.

— У вас была эта ночь.

— Да. И я хотел ещё одну. Это было эгоистично. Я признаю.

Вера смотрела на него. Дождь стекал по его волосам, по вискам, капал с подбородка. Он не вытирал лицо. Он просто стоял и смотрел на неё, и в серых глазах было что-то такое, отчего ей хотелось сделать шаг вперёд. Она не сделала.

— Вы знаете, что ваш отец сделал с домом на Варшавской? — спросила она.

— Знаю.

— А с дачей в Шувалове?

— Знаю.

— И вы пришли сюда, на мои леса, и фотографировали её лицо. «Для себя». А потом рисовали стеклянный ящик у неё над головой.

— Это не ящик. — В его голосе впервые прорезалось раздражение. — Вера, вы не понимаете. Если бы не я, проект делал бы Гриневич. Вы знаете, кто такой Гриневич? Партнёр отца. Он хотел снести всё. Вообще всё, вместе с фасадом. В его версии на месте вашей совы был бы девятиэтажный бетонный куб с террасой. Я отспорил фасад. Я отспорил высоту. Я отспорил ваших сов. Вы думаете, фонд платит за реставрацию по доброте? Это я нашёл фонд.

Вера молчала. Этого она не знала.

— И вы думаете, это что-то меняет? — спросила она наконец. Тихо, потому что громко у неё бы не получилось. — Вы сохраните маску и выбросите лицо. Фасад — это маска, Марк. А дом — это всё остальное. Лестницы, по которым сто лет ходили люди. Печи. Дворы. Витраж с ирисами, под которым кто-то целовался в тысяча девятьсот двенадцатом, и в сорок пятом, и в девяносто первом. А вы его в лобби. Вы меня извините, но вы не лучше Гриневича. Вы просто красивее упакованы.

Он ничего не ответил. Долго. Дождь барабанил по крыше бытовки. Полиэтилен на лесах хлопал.

— Хорошо, — сказал он наконец. И надел каску. Зачем-то надел каску обратно, и в этом было что-то настолько нелепое и беззащитное, что у Веры сдавило горло. — Я понял. Извините, что не сказал. Это было нечестно. Больше я вас не побеспокою.

Он развернулся и пошёл к воротам. Спина прямая, шаги тяжёлые. На полпути он остановился.

— Вера.

Она не ответила.

— Вы сказали, что под этим витражом кто-то целовался в двенадцатом году. Откуда вы знаете?

— Ниоткуда, — сказала Вера. — Я просто знаю. Дома такие вещи помнят.

Он кивнул, не оборачиваясь, и ушёл.

Вера вернулась домой в девять, мокрая до нитки. Ферзь сидел в прихожей и смотрел на неё жёлтыми глазами. Он действительно выглядел как кот, который знает про неё что-то плохое.

— Молчи, — сказала ему Вера. — Просто молчи.

Она налила себе ванну, самую горячую, какую только мог дать старый газовый колонковый нагреватель. Легла и погрузилась с головой. Под водой было тихо. Под водой не было ни Ланских, ни мансард, ни серых глаз под оранжевой каской.

Когда она вынырнула, телефон на стиральной машине вибрировал. Даша.

— Ну? — спросила Даша. — Завтра свидание, ты что наденешь? Только не говори, что тот серый свитер с катышками...

— Свидания не будет.

Пауза.

— Что случилось?

— Его фамилия Ланской, Даш.

Даша ещё посопела. Потом сказала одно слово, которое в приличных книгах не печатают.

— Вот именно, — сказала Вера.

— Сын?

— Сын. И главный архитектор проекта. Стеклянную мансарду рисует он. Лично.

— И он тебе не сказал.

— Нет.

— За пять дней.

— За пять дней, и одну ночь, и лучший кофе в его жизни. — Вера вдруг поняла, что сейчас заплачет, и это было так глупо, что она разозлилась на себя и не заплакала. — Глупо, да? Совершенно чужой человек. Одна ночь у моста. Три фотографии. А мне так, будто у меня что-то украли.

— Это не глупо, — сказала Даша. Совсем не ехидно. — Это как раз правильно. Когда всё настоящее, одной ночи достаточно. Я тебе тысячу раз говорила, что ты живёшь не в том веке. В твоём веке люди влюблялись один раз на балу и навсегда.

— Я не влюбилась.

— Конечно. Ты просто носишь его шарф в рюкзаке.

— Я его вернула.

— Вот как. — Даша вздохнула. — Слушай. Хочешь, я приеду? У меня есть бутылка какого-то грузинского, клиент подарил. Настоящее, из Кахетии.

— Не надо. Завтра мне в Лугу, к маме. На первую электричку.

— Ага. Значит, свидания и так не было бы?

Вера помолчала.

— Я собиралась съездить в воскресенье, — сказала она наконец. — Перенесла бы.

— Ради него?

— Ради кофе на Рубинштейна.

— Ой, Верка, — сказала Даша, как и в тот вечер в баре. Только теперь совсем другим голосом.

Вера положила телефон, снова ушла под воду и сидела там, пока не кончился воздух.

В половине двенадцатого телефон пискнул ещё раз. Она не собиралась смотреть. Она посмотрела.

Фотография. Чертёжный стол, лампа, лист бумаги. На листе карандашный набросок: дом Вельского. Только без мансарды. Дворовые флигели на месте, под ними стрелки и цифры. В углу корявая пометка: *«вариант Б, сохр. ист. объёмов — посчитать что теряем»*.

Подписи не было. Ни слова. Просто фотография.

Вера смотрела на неё, пока вода в ванне не остыла. Потом выключила телефон совсем. До утра.

Глава 4. Луга

Электричка на Лугу уходила с Балтийского вокзала в семь сорок. В вагоне пахло мокрыми куртками и чебуреками. На скамье напротив спал мужчина в оранжевом жилете дорожника, обняв термос, как младенца. Вера сидела у окна, прижав лоб к холодному стеклу. Мимо тянулись серые спальные районы, потом серые поля, потом серый лес с белыми проплешинами снега.

Телефон она включила только в Гатчине. От Марка ничего не было. Только та фотография с карандашным наброском, на которую она так и не ответила. Зато было три пропущенных от Кирилла и сообщение:

«Вера, срочно. Пишу материал про дом Вишневецкой. Знаю, что ты там работаешь. Нужно поговорить. Это важно для города».

Вера поморщилась. Кирилл Зотов всегда звонил по важным для города делам. Два года они прожили вместе в её квартире на Седьмой линии. И все два года в их жизни не было ничего важнее его расследований. Ни её работа, ни её мама, ни её день рождения, который он пропустил, потому что следил за вырубкой сквера в Купчино. Кирилл работал в городском интернет-издании «Невский дозор». Он был умным, смелым и совершенно невыносимым. Вера выгнала его полтора года назад, и он до сих пор считал это недоразумением.

«Не могу, — написала она. — Я подписывала договор о неразглашении. И не хочу».

Ответ пришёл мгновенно, как всегда: «Договор о неразглашении с Ланским? Вера, ты вообще понимаешь, на кого работаешь? Они дом снесут. У меня есть инфа, что они готовят аварийность по флигелям. Фиктивную. Ты же видела флигели, они аварийные?»

Вера вспомнила флигели. Кирпичная кладка в три кирпича, здоровая, как крепостная стена. Штукатурка отваливалась кусками, крыша протекала, водостоки сгнили. Но стены стояли твёрдо. Семён Ильич как-то постучал по ним кулаком и сказал: «Вот так строили. Нас переживёт».

«Не знаю, — написала она. — Я лепнинщица, а не инженер».

«Вера. Это твой город. Твоя сова на фасаде. Подумай».

Она выключила телефон снова. В одном он был прав, и от этого было гадко. Это была её сова.

Луга встретила её ветром и пустыми улицами. Вера прошла от вокзала пешком мимо водонапорной башни и памятника Римскому-Корсакову. Дальше шли пятиэтажки на улице Кирова. В одной из них вот уже тридцать лет жила мама.

Нина Петровна Соколова уехала из Петербурга в девяносто четвёртом. За Вериным отцом, военным инженером, которого перевели в лужский гарнизон. Отец умер от инфаркта, когда Вере было четырнадцать. Мама осталась. Она преподавала музыку в детской школе искусств, сажала флоксы под окном и каждое лето варила варенье из чёрной смородины столько, что хватило бы на роту солдат. В двадцать втором году она забыла выключить плиту. В двадцать третьем забыла дорогу из магазина, и её четыре часа искали соседи. В двадцать четвёртом невролог в областной больнице назвал диагноз. Слово было длинное, немецкое, и Вера его возненавидела.

Дверь открыла тётя Галя, сиделка. Она была крупная, румяная, с руками, как у булочницы, и голосом, как у диспетчера железнодорожной станции.

— Верочка! — загромыхала она. — Заходи, заходи. Нина Петровна, смотрите, кто приехал!

Мама сидела в кресле у окна, в синем халате, с пледом на коленях. Волосы, когда-то тёмные и тяжёлые, как у Веры, теперь были совсем седые и коротко острижены. Так было

удобнее тёте Гале. На подоконнике стояли фиалки в глиняных горшках. Их лепила ещё Даша, когда занималась керамикой.

— Мам, — сказала Вера и опустилась перед креслом на колени. — Привет.

Мама посмотрела на неё. Вежливо, внимательно, как смотрят на незнакомого человека в очереди.

— Здравствуйте, — сказала она. — Вы из собеса?

Вера сглотнула. Это было не впервые. Но к этому нельзя было привыкнуть. Каждый раз было как первый.

— Нет, мам. Я Вера. Твоя дочка.

— Вера, — повторила мама. И подумала. Вера видела, как где-то внутри, за её глазами, идёт поиск, как в огромном тёмном архиве, где перегорела половина лампочек. — Верочка. У меня дочка Верочка. Она в третьем классе. Она лепит из пластилина, вы бы видели. Слоников. У неё лучшие слоники в школе.

— Я знаю, — сказала Вера и взяла мамину руку. Рука была тонкая, сухая, с пальцами пианистки. Вера настроила крепкий голос. — Расскажи мне про неё.

И мама рассказала. Про то, как Верочка в пять лет слепила из хлебного мякиша целый зоопарк и не давала его съесть. Про то, как она боялась грозы и пряталась под пианино. Про то, как папа носил её на плечах на парад и она видела танки. Вера слушала и держала мамину руку. Все эти истории она знала. Она их помнила. И было странно и невыносимо слышать, как мама рассказывает их ей же, как чужой.

А потом, посреди истории про слоников, мама вдруг замолчала и посмотрела на неё совсем иначе.

— Вера, — сказала она обычным голосом. Тем самым голосом, которым кричала из окна «Вера, ужинать!» — Ты похудела. Ты ешь вообще?

У Веры перехватило дыхание.

— Ем, мам.

— Не ври. У тебя скулы торчат. И глаза грустные. Что случилось? Тот журналист опять?

— Нет, мам. Не он.

— А кто?

Вера не собиралась рассказывать. Но мама смотрела на неё так, как не смотрела уже полгода. И Вера понимала, что это окно может закрыться в любую секунду. Поэтому она сказала быстро, как говорят самое важное, пока не оборвалась связь:

— Я познакомилась с человеком. Он архитектор. Он понимает дома, мам. По-настоящему понимает, как бабушка. И он меня слушал. Никто меня так не слушал. А потом оказалось, что он с другой стороны. С той, где дома ломают. И он мне не сказал.

Мама сжала её пальцы — неожиданно сильно.

— А почему не сказал?

— Говорит, хотел, чтобы у нас была одна ночь, когда он не сын своего отца.

— Хм, — сказала мама. И вдруг улыбнулась. Странной, очень молодой улыбкой. — Знаешь, Верочка, отцов не выбирают. А вот ночи — выбирают. Я вот однажды выбрала не ту ночь. И потом жалела всю жизнь.

— Какую ночь, мам?

Но окно уже закрывалось. Вера видела это: глаза мамы снова стали вежливыми и пустыми, пальцы разжались.

— Вы из собеса? — спросила она. — Я жду дочку. Она должна прийти из школы.

На кухне тётя Галя налила ей чаю и поставила тарелку с пирожками.

— Это с капустой, это с яблоком. Ешь. Ты и правда похудела.

— Она меня узнала, — сказала Вера. — На минуту.

— Бывает, — кивнула тётя Галя. — Редко, но бывает. На прошлой неделе она меня целый день тамарой звала. Какой-то там Тамарой из училища. А вчера вдруг сыграла на пианино Шопена. Целиком, ни разу не сбилась. Я стою, реву. А потом закрыла крышку и спрашивает, чей это инструмент.

Вера сидела, обхватив кружку обеими руками.

— Тёть Галь. Как она вообще?

Тётя Галя вздохнула и села напротив. Стул скрипнул.

— Хуже, Верочка. Чего уж там. Ночью встаёт, ходит. В среду дверь открыла и в одной ночнушке на лестницу вышла. Хорошо, я сплю чутко. Но я ведь не могу не спать совсем. Мне шестьдесят три года. Спина у меня. И ещё... — Она замялась.

— Что?

— У меня сестра в Пскове слегла. Инсульт. Ей хуже, чем Нине Петровне. У неё никого, Верочка. Совсем никого, кроме меня. Я не знаю, сколько ещё смогу тут быть. Месяц. Может, два.

Вера поставила кружку.

— Я понимаю, — сказала она. — Конечно. Конечно, тёть Галь.

— Тебе надо про пансионат думать, — осторожно сказала тётя Галя. — Хороший. Где врачи. Специализированный. У меня знакомая в таком работает, под Пушкином. Там хорошо, правда. Сад, пианино есть, занятия. Люди добрые.

— Сколько?

Тётя Галя назвала цифру. Вера молча кивнула. Цифра была в полтора раза больше, чем её зарплата в хороший месяц. А в плохой — в два.

— Я что-нибудь придумаю, — сказала она.

— Верочка. А квартира? Эта, мамина? Её же можно сдавать.

— Можно. За двадцать тысяч. Это Луга, тёть Галь.

— А твоя? В Питере?

Вера посмотрела в окно. Там, за стеклом, росла лысая берёза. На ней сидели две вороны и о чём-то спорили.

Квартира на Седьмой линии. Бабушкина. Со скрипучим паркетом, куполами в окне и Ферзем на подоконнике. Там бабушка научила её смотреть на трещины в рамах. Там она плакала на полу, когда не поступила в академию с первого раза. И там же танцевала с Дашей в три ночи, когда поступила в Муху. Там было всё.

— Я что-нибудь придумаю, — повторила она.

Обратная электричка была пустой и холодной. Вера сидела в куртке и шапке и считала в телефоне. Зарплата. Заказы на стороне: розетки для частных квартир, гипсовые ангелы для новогодних интерьеров, одна кариатида для камина какого-то нувориша с Крестовского. И всё равно не хватало. Как ни считай, не хватало.

В Красном Селе она сдалась и набрала номер.

— Даш. Можно я к тебе заеду? С вокзала?

— Ты ещё спрашиваешь, — сказала Даша.

Студия на Гатчинской называлась «Чернила и киты». Это было подвальное помещение со сводчатым потолком из красного кирпича. Построили его лет сто тридцать назад как купеческий ледник. Теперь тут стояли два кресла для татуировки, стеллаж с красками, аквариум с одинокой аксолотлей по имени Александр Сергеевич и огромный продавленный диван. На нём Вера и растянулась, пока Даша добивала какому-то студенту на щиколотке строчку из Бродского.

Когда студент ушёл, счастливый и замотанный плёнкой, Даша села рядом и протянула Вере стакан с тёмным вином.

— Кахетия, — сказала она. — Пей и рассказывай.

Вера рассказала. Про маму. Про тётю Галю и сестру в Пскове. Про пансионат под Пушкином, с садом и пианино. Про цифру.

Даша свистнула.

— У меня есть сто двадцать тысяч на карте, — сказала она. — Это на первое время.

— Даш, нет.

— Да. Это не обсуждается. Вернёшь, когда сможешь. Или не вернёшь. Слепишь мне Александра Сергеевича в натуральную величину из мрамора.

Аксолотль в аквариуме посмотрел на них с бесконечным равнодушием.

— А про архитектора? — спросила Даша.

Вера молча протянула ей телефон с фотографией карандашного наброска. Даша растягивала снимок пальцами, щурилась, хмыкала.

— Это что?

— Это дом без мансарды. И с флигелями. «Вариант Б».

— Это он нарисовал? После того, как ты его послала?

— Видимо.

— И он тебе просто прислал фотографию. Без слов.

— Без слов.

Даша вернула телефон, откинулась на спинку дивана и отпила вина.

— Знаешь, что я думаю? — сказала она. — Кирилл за два года ни разу не поменял ни одного своего мнения из-за тебя. Ни одного. А этот перерисовал дом за один вечер.

— Это набросок, Даш. Из наброска ничего не следует. У него отец, инвесторы, какой-то Гриневич...

— Из наброска всегда что-то следует. — Даша показала на стену. Там висели сотни эскизов татуировок, нарисованных карандашом на чём попало: на салфетках, чеках, обёрточной бумаге. — У меня каждая татуировка начиналась с наброска. Набросок — это когда человек уже решил, но ещё сам не знает.

Вера ничего не сказала.

— Ответь ему, — сказала Даша.

— Что я ему отвечу?

— Не знаю. Что-нибудь. Одно слово. Он же тебе одно слово так и не сказал. Ну вот и ты ему одно.

Вера взяла телефон. Посмотрела на набросок. На корявую пометку: «посчитать что теряем».

Она написала одно слово. Потом стёрла. Потом снова написала то же самое и нажала «отправить», пока не передумала.

«Посчитали?»

Ответ пришёл через сорок минут. За это время Вера успела проглотить стакан Кахетии, покрутить на пальце прядь волос до узла и три раза решить, что он не ответит.

«Посчитал. Двадцать два процента площади. И один очень неприятный разговор с отцом. Он ещё не состоялся. Вера, я не прошу прощения. Я прошу одну вещь. Покажите мне дом. Не фасад. Дом. Так, как видите его вы. Я хочу понять, что именно я собираюсь отстаивать».

Вера прочитала вслух. Даша долго молчала.

— Ну, — сказала она наконец. — Александр Сергеевич, ты слышал? Он собирается отстаивать.

Аксолотль медленно всплыл к поверхности и задумчиво выпустил пузырь.

«Воскресенье, десять утра, — написала Вера. — Каску можно не брать. Внутри не нужна. Возьмите фонарик».

«Зачем фонарик?»

«Увидите».

Глава 5. Архив

Офис «Ланской Девелопмент» занимал два верхних этажа особняка на Малой Морской. Когда-то тут жил сенатор. Потом был наркомат, потом научно-исследовательский институт чего-то гидравлического, потом десять лет ничего. Потом пришёл Виктор Сергеевич Ланской и дал камням вторую жизнь. Лепнину позолотили так густо, что от неё болели глаза. В кабинете отца стоял камин из настоящего каррарского мрамора, купленный на аукционе в Милане, и всегда пахло сигарами, хотя отец бросил курить восемь лет назад.

Марк ненавидел этот кабинет с четырнадцати лет.

— Двадцать два процента, — сказал Виктор Сергеевич и отложил лист с расчётами. Говорил он спокойно. Он всегда говорил спокойно, и от этого спокойствия у людей на переговорах потели ладони. — Ты понимаешь, что такое двадцать два процента площади на Петроградке, Марк?

— Понимаю. Я же считал.

— Тогда объясни мне, зачем.

Марк стоял у окна. За стеклом лежала Малая Морская, мокрая и блестящая от фонарей. Вдалеке светился золотой купол Исаакия, похожий на огромный шлем, забытый великаном.

— Флигели не аварийные, — сказал он. — Я был там. Кладка в три кирпича, ленточный фундамент на путиловской плите. Стены простоят ещё лет сто, если перекрыть крышу и сделать водоотвод.

— У нас есть заключение экспертизы.

— У нас есть заключение, которое заказал Гриневич у своих людей. Я его читал, пап. Там замеры прочности кирпича взяты из другого дома. У них даже номер участка не совпадает. Они поленились его исправить.

Отец снял очки, положил их на стол и потёр переносицу. Так он делал, когда уставал. Или когда хотел, чтобы собеседник думал, что он устал.

Виктору Ланскому было шестьдесят один. Он был высокий, как сын, но шире в плечах. Волосы седые, острижены коротко, по-военному. В девяностые он начинал с двух арендованных самосвалов и бригады таджиков, а сейчас его компания входила в десятку крупнейших застройщиков города. За эти тридцать лет он ни разу не повысил голос.

— Марк, — сказал он. — Сядь.

Марк не сел.

— Сядь, пожалуйста.

Он сел в кожаное кресло напротив стола. Кресло было нарочно ниже отцовского, на десять сантиметров. Марк знал этот трюк. Он сам читал про него в книге про переговоры, которую отец подарил ему на шестнадцатилетие. И всё равно трюк работал.

— Я не дурак, — сказал отец. — И я не злодей из твоих лондонских газет. Я знаю, что экспертиза Гриневича — халтура. Халтуру можно исправить. Но не в этом дело. Дело в том, что под эти двадцать два процента у меня уже есть покупатели. Пентхаус в мансарде забронирован. Два лота в новом корпусе проданы на стадии котлована. Под этот проект мы взяли кредит. Банк видел концепцию. Твою, между прочим, концепцию.

— Я понимаю.

— Нет, ты не понимаешь. — Отец надел очки обратно. — Три года назад ты позвонил мне из Лондона в четыре утра. Ты был должен двести тысяч фунтов подрядчикам, арендодателю и какому-то итальянцу с мрамором. Ты плакал, Марк. Ты помнишь? Ты плакал в трубку. И я не сказал тебе ни одного слова упрёка. Ни одного. Я просто заплатил. А потом сказал: приезжай, сын. Дома столько работы для талантливого архитектора.

Марк смотрел на каррарский камин. На нём стояли часы в форме храма и фотография в серебряной рамке. Отец на фотографии был молодой, в джинсовой куртке, с ребёнком на руках. Рядом стояла мама в соломенной шляпе, с этюдником через плечо, и смеялась чему-то вне кадра.

— Я помню, пап, — сказал он. — Я всё помню. И я благодарен. Но ты позвал архитектора. Архитектор говорит тебе: флигели можно сохранить. Нужно сохранить. В них исторические печи. В главном корпусе витраж из мастерской Тоде, таких в городе три. Если мы сделаем аккуратную реставрацию, квартиры в таком доме будут стоить дороже любого новодела. Настоящий модерн, не подделка. Двадцать два процента площади мы вернём ценой квадратного метра. Я считал и это.

Отец долго смотрел на него. Внимательно, с тем выражением, с каким изучал чужие балансы.

— Это не ты считал, — сказал он наконец. — У тебя неделю назад были другие цифры. Кто она?

Марк не ответил.

— Алина видела тебя в воскресенье на набережной, — спокойно сказал отец. — В пять утра, с девушкой в рабочих ботинках. Она ехала из клуба мимо. Если ты думаешь, что она не рассказала своему отцу...

— Алина может рассказывать своему отцу что угодно. Мы расстались два года назад.

— Может быть. Но Гриневич до сих пор считает тебя почти зятем. И он вложил в этот проект сорок процентов. — Отец постучал дужкой очков по столу. — Я не спрашиваю, кто она. Я спрашиваю, не связана ли она с домом на Пушкарской.

Марк поднялся.

— Я принесу тебе вариант Б через две недели, — сказал он. — С расчётами, с анализом продаж. С настоящей экспертизой флигелей, не от Гриневича. И если он будет хуже — я сам нарисую тебе мансарду.

— Две недели, — сказал отец. И вдруг, когда Марк уже взялся за ручку двери, добавил совсем другим голосом: — Ты очень похож на неё, когда так стоишь. Она тоже всегда вставала, когда со мной спорила.

Марк не обернулся. Вышел и аккуратно закрыл за собой дверь.

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга находился на Варшавской улице. До него надо было ехать примерно столько же, сколько до Хельсинки. В читальном зале было тихо и тепло. Пахло старой бумагой и чем-то сладковатым, как в библиотеках детства. Над столами горели зелёные лампы. За соседним столом старик в нарукавниках переписывал в тетрадь метрические книги какого-то прихода и тихо бормотал имена.

Марк заказал всё, что было по дому на Большой Пушкарской, ещё в среду. А сейчас, в субботу, на его столе лежали три папки с выцветшими картонными обложками и одна тонкая, почти пустая.

Первая папка была из фонда Строительного отделения городской управы: чертежи, прошения, разрешения. Хрупкие листы ватмана с тончайшими линиями туши. Марк перебирал их в белых хлопковых перчатках и чувствовал то, что чувствовал всегда перед старыми чертежами: странную смесь восторга и стыда. Вельский чертил так, как сейчас не чертит никто. Рукой, без единой помарки, с акварельной отмывкой теней. На фасаде были даже совы, крошечные, в три линии, и всё равно с характером.

А над окном третьего этажа было лицо.

В карандаше, без туши. Архитектор то ли не успел, то ли не решился обвести его начисто. Под лицом мелко, в самом углу, кто-то написал две буквы: *«О. В.»*

Ольга Вишневецкая. Хозяйка дома.

Вторая папка была из фонда нотариальной конторы. Духовное завещание коллежского советника Пётра Вишневецкого, скончавшегося в 1909 году. Всё имущество отошло вдове, Ольге Николаевне, двадцати семи лет. Среди прочего и участок на Большой Пушкарской с ветхим деревянным домом. Деревянный дом снесли в десятом. В одиннадцатом на его месте стоял пятиэтажный каменный, с совами.

А в третьей папке, куда кто-то из архивистов собрал всякую всячину по адресу, Марк нашёл вырезку из «Петербургской газеты» за 1912 год. Рубрика светских сплетен. Неизвестный фельетонист писал, что молодой зодчий В. украсил новый доходный дом на Петербургской стороне портретом своей заказчицы. И, по слухам, не только фасад, а и сердце вдовы О. В. сдалось на его милость. Родня покойного мужа была возмущена, и дама перестала получать приглашения в известные дома. «Однако, — ехидно заканчивал фельетонист, — судя по выражению каменного лика, дама сим обстоятельством нисколько не огорчена».

Марк перечитал заметку три раза. Потом достал телефон и нашёл фотографию, сделанную на лесах: лицо маскарона крупным планом, половина щеки свежая, белая, и тонкая рука со шпателем у самого края кадра. Тяжёлые веки. Полуоткрытые губы. Дама сим обстоятельством нисколько не огорчена.

Он улыбнулся, сам того не замечая.

Четвёртая папка, тонкая, пришла из личного фонда какой-то Анны Николаевны Редигер. Архивистка, пожилая дама с лицом очень строгой учительницы и голосом очень доброй бабушки, принесла её сама и положила перед ним с некоторой торжественностью.

— Это вам не по заказу, — сказала она. — Это я сама вспомнила. Анна Редигер — сестра Ольги Вишневецкой. Уехала в Ревель в девятнадцатом. Потом её бумаги вернулись сюда, в семидесятые, через дальних родственников. Там письма. Немного. Я их читала лет двадцать назад, когда описывала фонд. И запомнила. Такое не забывается.

В папке лежало четыре письма, написанные стремительным, чуть наклонным почерком с ятями и ерами. Ольга писала сестре в Ревель в 1918 году. Первые три были о голоде, о том, что в дом подселили четыре семьи рабочих и она теперь живёт в одной комнате, бывшей мастерской. О том, что дров нет, а печи теперь топят мебелью.

А четвёртое было другим.

Марк читал медленно, продираясь сквозь старую орфографию.

«Анечка, Александра взяли во вторник. Я ходила на Гороховую, стояла там с утра до вечера, мне ничего не сказали. Больше не могу писать об этом. Анечка, если со мною что-нибудь случится, знай: наши письма, его и мои, все семь лет, Саша спрятал там, где живут совы. Пусть лучше дом их хранит, чем чужие люди читают. Он говорил, что дом помнит. Я теперь верю».

Дом помнит.

Марк поднял голову. Старик за соседним столом всё так же бормотал имена. Зелёные лампы гудели. А в голове у него звучал совсем другой голос, под дождём, у бытовки: *«Ниоткуда. Я просто знаю. Дома такие вещи помнят».*

— Простите, — сказал он архивистке, когда она снова проходила мимо. — А про Вельского что-нибудь известно? Что с ним стало?

Архивистка посмотрела на него поверх очков.

— Расстрелян в сентябре восемнадцатого, — сказала она. — В списках заложников. Списки печатали в газетах. А Вишневецкая умерла в том же доме в сорок втором, в блокаду. Она так и прожила всю жизнь в той комнате. Не уехала, хотя сестра звала. Есть письма Анны, где она упрашивает. Ольга отвечала всегда одно и то же: «Я не могу оставить дом».

Марк молчал. Архивистка ещё посмотрела на него, потом на папки, потом снова на него.

— А вы, молодой человек, кем будете? Историк?

— Архитектор.

— А-а, — сказала она, и в этом «а-а» была целая история снесённых домов петербургского центра. — Ну, смотрите. Копии заказать можно в кабинете двести семь. Десять рабочих дней.

И ушла.

Марк сидел до самого закрытия. Он переписал от руки в блокнот все четыре письма и фельетон из «Петербургской газеты». Потом вышел на Варшавскую. Было темно, морозно, под ногами хрустела наледь. Он долго стоял у машины, не садясь в неё.

Там, где живут совы.

На фасаде было семнадцать сов. Он считал. Вера говорила, что знает каждую по имени.

Он достал телефон и перечитал её последнее сообщение. *«Возьмите фонарик».*

И впервые за много лет Марк Ланской почувствовал, что завтрашнего дня ждёт не как очередного рабочего. Он ждал его так, как ждут в детстве: с нетерпением, от которого становится неловко.

В воскресенье в девять сорок пять он уже стоял у дома на Большой Пушкарской. В кармане пальто лежал фонарик, а в руках два стаканчика кофе из той самой пышечной у Сытного рынка. С молоком и сахаром сразу, из большого бака.

Вера пришла ровно в десять. В том самом сером свитере с катышками, про который он ничего не знал, под расстёгнутой курткой. С рюкзаком за спиной и связкой старых ключей в руке. Она остановилась в трёх шагах и посмотрела на кофе.

— Вы ездили на Сытный.

— Это честный кофе. Я обещал.

— Вы обещали его на свидании. Это не свидание.

— Я знаю. — Он протянул ей стаканчик. — Это экскурсия. Но на экскурсию тоже нельзя без кофе.

Вера помедлила. Потом взяла. Их пальцы не соприкоснулись. Она очень старалась, чтобы не соприкоснулись, и он это заметил.

— Фонарик взяли? — спросила она.

— Взял.

— Хорошо. — Она отпила кофе, поморщилась и посмотрела на него поверх стаканчика. — Тогда пойдёмте. У нас ключи от парадной, от чердака и от двух расселённых квартир. Остальные жильцы ещё тут. Ведите себя прилично.

— Я всегда веду себя прилично.

— На лесах без каски вы вели себя неприлично.

— Я исправился. У меня есть оранжевая, вы видели.

Уголок её рта дрогнул. Всего на секунду. Но Марк увидел, и ему этого хватило, чтобы стать непозволительно счастливым.

Она повернула ключ в тяжёлой дубовой двери парадной. Дверь заскрипела и открылась внутрь, в темноту, пахнувшую сыростью, старым камнем, кошками и столетием.

— Добро пожаловать, — сказала Вера, — в объём.

И шагнула внутрь.

Глава 6. Чердак

В парадной было темно. Лампочку над входом кто-то выкрутил ещё в сентябре, а дневной свет в ноябре сюда почти не доходил. Вера остановилась на первой ступеньке.

— Фонарик, — сказала она. — Светите наверх. И не спешите.

Марк включил фонарик и поднял луч.

И витраж загорелся.

Днём он был тусклым, серо-зелёным от столетней пыли. Сейчас, в узком круге света, он вдруг ожил. Глубокий фиолетовый цвет лепестков, жёлтые сердцевины, тонкие стебли цвета бутылочного стекла. Стебли поднимались вверх волнами, как водоросли в течении. И всё это светилось изнутри, будто луч не освещал стекло, а будил его. По стенам лестничной клетки поплыли цветные пятна: лиловые, золотые, зелёные.

Марк не дышал.

— Днём так не увидишь, — тихо сказала Вера. — Стекло грязное снаружи, и свет рассеивается. А когда светишь изнутри, видно, каким он был. Я нашла это случайно, в сентябре. Поднималась с телефоном, когда свет отключили.

— Это... — Он не знал, как сказать. — Вера, это нельзя в лобби.

— Я знаю, — сказала она. — Я вам это и говорила.

Они стояли в темноте, и витраж горел над ними, а на полу лежали фиолетовые тени. Пальцы Марка сильнее сжали фонарик.

— Покажите мне ещё, — сказал он.

Она показала ему пол. Метлахская плитка, стёртая до гладкости. Если наклониться и светить сбоку, можно было разглядеть узор из тех же ирисов, совсем бледный, как водяной знак. Показала перила. Чугунная решётка с листьями, а дубовый поручень за сто лет стал тёмным и гладким, как старая кость.

— Потрогайте, — сказала она. — Сюда можно.

Он снял перчатку и положил ладонь на поручень. Дерево было тёплым. Странно тёплым для холодной парадной.

— Сто лет люди держались за него, — сказала Вера. — Поднимались с покупками, с детьми, пьяные, влюблённые. В блокаду — из последних сил. Дерево помнит руки. Это не мистика. Жир с ладоней впитывается в древесину и полирует её. Ваш новый поручень будет таким через сто лет. Если повезёт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.